Просвещенный наследник-2

Павел Смолин

Павел Смолин
Просвещенный наследник 2

https://litres.ru/74332249
SelfPub; 2026

Аннотация

Восемь лет назад в тело десятилетнего великого князя попал человек из другого века — усталый ревизор, потерявший имя, но не выучку. Мир вокруг него так и не узнал о подмене. Сам он давно перестал чувствовать себя подменой.

1796 год. Екатерина умирает, трон достаётся Павлу — и вместе с короной в жизнь двора входит эпоха нервных указов, гатчинской муштры и грозы, которую весь Петербург научился предсказывать по стуку отцовской трости о паркет. Досье, которое герой годами собирал против чужих грехов, начинает исподволь фиксировать грехи собственного отца — и это ещё не самая тяжёлая из его новых находок.

Содержание

Глава 1 4
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Павел Смолин
Просвещенный наследник 2

Глава 1

Глава 1

Второй раз в жизни меня одевали в то, что я не выбирал и не мог снять сам, — но если девять лет назад это были детские кафтанные пуговицы, застёгнутые не в том порядке, то теперь это было нечто, весившее, кажется, не меньше самого меня в десятилетнем возрасте: тяжёлая, шитая по подолу двуглавыми орлами мантия, из тех, что не носят, а в них стоят, потому что сидеть в подобном облачении устройство человеческого тела попросту не предусматривает. Камер-паж — юноша года на два меня младше, оробевший до полной неспособности встретиться со мной взглядом, — заправлял последнюю застёжку у ворота с той же торжественной сосредоточенностью, с какой Прокофий Ильич когда-то укладывал мне непослушный вихор перед вечерней службой, и я поймал себя на неуместной, но тёплой мысли: должно быть, где-то в этом самом дворце десятилетний мальчик до сих пор стоит смирно, покуда чужие руки застёгивают на нём чужую, слишком взрослую для него одежду, — просто мальчик этот давно уже не я, а я вместо него стал одним из тех, ради кого

затевается всё это торжество.

Мантия оказалась тяжелее, чем я ожидал даже с поправкой на все предупреждения камергера, отвечавшего за облачение, — тяжелее не столько весом самой ткани, сколько тем, до чего скованно она заставляла держать плечи и шею, вынуждая идти той особой, неестественно прямой поступью, какую я до сих пор знал только по портретам покойной бабушки в дни больших приёмов. Я невольно вспомнил её собственную коронационную мантию, которую видел однажды на гравюре в одной из дворцовых книг, — и подумал мельком, без всякой видимой связи, что вот и мне, вероятно, предстоит однажды позировать для подобной же гравюры, которую какой-нибудь будущий десятилетний правнук станет разглядывать со столь же смутным, ещё не осознанным трепетом, с каким когда-то разглядывал её я сам.

За стеной, в соседних покоях, готовили к тому же обряду Елизавету — не как невесту на этот раз, а как супругу наследника, чьё присутствие на коронации свёкра было делом уже не романтическим, а протокольным, — и я успел различить сквозь двойные двери её голос, мягко выговаривающий камеристке за слишком туго затянутую шнуровку, прежде чем меня самого позвали вниз, в парадные сени, откуда должно было начаться шествие.

Москва встретила меня той весной шумом, какого я не помнил с самого детства, — колокольным звоном, доносившимся, казалось, разом со всех сорока сороков, толпой, за-

прудившей улицы от Кремля до самых окраин в надежде хоть краем глаза увидеть новую власть, и особым, чуть тревожным гулом города, который давно отвык от коронаций и теперь наверстывал упущенное с избыточным, нервным энтузиазмом. Пока мы шли — вернее сказать, торжественно, мучительно медленно двигались — от дворца к Успенскому собору сквозь строй кавалергардов в непривычных ещё, недавно перекроенных по прусскому образцу мундирах, я в какой-то момент поймал себя на том, что механически подсчитываю число свечей в руках у стоящих вдоль пути певчих, сверяя его — по совершенно бессмысленной, оставшейся от иной жизни привычке — с тем, сколько таких свечей должно бы полагаться по обычной дворцовой смете на подобное число персон. Свечей оказалось заметно больше сметного числа. Мысль о том, что стоило бы выяснить, куда деваются лишние, посетила меня и была отброшена в ту же секунду с почти физическим усилием — не время, одёрнул я себя, и не место, и, положа руку на сердце, не моё более дело: я давно выучил, что ревизорский зуд полезнее всего держать на коротком поводке именно тогда, когда искушение почесать его особенно сильно.

Внутри Успенского собора, куда мы наконец вошли — я в свите, чуть позади отца, — было тесно, жарко от тысяч свечей и оттого душно тем особым, плотным духом ладана, воска и человеческого множества, что въедается в память надёжнее любого зрительного впечатления. Отец стоял в цен-

тре, под сводами, расписанными древними, потемневшими от времени ликами, — невысокий, коренастый, в этот раз отчего-то не казавшийся смешным, как порой мог казаться в обычной дворцовой суете: то ли строгость обряда убирала с него всё лишнее и суетное, то ли я сам, наконец повзрослев, перестал видеть в нём только нервического, легко уязвимого человека и начал видеть ещё и государя, каким он всё-таки, вопреки всем моим детским и не очень детским сомнениям, старался быть.

Он венчался на царство сам — случай для русского престола едва ли не небывалый, — сам возложил на себя корону, не позволив митрополиту сделать это за него, и ту же корону, тяжёлую, новой работы, будто нарочно перегруженную имперскими символами по сравнению с прежними, более скромными венцами, я узнал не по описанию, а по тому недолгому разу, когда мне однажды показали её эскиз на утверждение, — тогда я не придал этому значения, теперь же смотрел, как она опускается ему на голову, и думал о том, до чего причудливо иногда сходятся мелкие, забытые эпизоды жизни в один-единственный торжественный момент. Следом, и этого уже точно никто прежде на моей памяти не делал, отец собственными руками возложил малую корону на матушку — Марию Фёдоровну, — тем самым молчаливо, но недвусмысленно объявляя её не просто женой государя, а соучастницей самой власти, и я, глядя на это, невольно подумал о Елизавете, стоявшей чуть в стороне среди придвор-

ных дам с тем же внимательным, серьёзным выражением, с каким она слушала любую значимую для меня новость, — подумал о том, какой путь ещё предстоит пройти нам обоим, прежде чем подобный жест перестанет казаться чем-то из ряда вон выходящим.

За коронованием последовало миропомазание — обряд, о котором я, признаться, прежде знал только понаслышке, никогда не видев его вживую, — и когда митрополит коснулся освящённым маслом отцовского лба, век, ушей, груди и рук, произнося при каждом касании положенные по чину слова, я поймал себя на том, что внимательно, почти механически слежу за самой процедурой, будто оценивая её со стороны — не благочестия ради, а по застарелой профессиональной привычке искать в любом ритуале скрытую логику, ради которой он в своё время сложился именно так, а не иначе. Здесь, впрочем, логика была довольно прозрачной: обряд превращал человека, минуту назад бывшего просто немолодым, тревожным отцом семейства, в фигуру, формально причастную самому Богу, — и я, наблюдая за этим превращением с расстояния в десяток шагов, впервые по-настоящему остро почувствовал, что однажды, пусть и нескоро, та же процедура будет проделана надо мной, и я не знал, чего в этой мысли было больше — смирения или тихого, никому не высказываемого ужаса.

Но по-настоящему меня пробрало не венчание короной, а то, что за ним последовало. Отец, не передавая слово никому

другому, сам, своим не самым благозвучным, но неожиданно твёрдым в этот момент голосом огласил Акт о престолонаследии — новый, строгий порядок передачи трона по мужской линии, от отца к старшему сыну, без всяких прежних вольностей, позволявших государю по личной прихоти назначить преемником кого угодно, вплоть до последнего фаворита. Я слышал собственное имя — не выкрикнутое, не подчёркнутое особо, произнесённое буднично, в общем перечне порядка наследования, — и всё же именно эта будничность, это отсутствие всякой театральности произвели на меня куда более сильное впечатление, чем произвела бы самая пышная церемония. Восемь лет я знал, что рано или поздно унаследую престол, — знал это как слух, как ожидание, как нечто вероятное, о чём можно было думать отвлечённо, откладывая настоящий разговор с самим собой на неопределённое потом. Здесь, среди золота и ладана, это перестало быть вероятностью и стало законом, записанным на бумаге, скреплённым печатью и зачитанным вслух перед лицом всей знати государства, — и я, к собственному удивлению, ощутил при этом не гордость и не ужас, а нечто куда более прозаическое: холодное, почти канцелярское узнавание окончательно закрытого дела, того самого чувства, с каким когда-то, совсем в другой жизни, подписывал последний акт после долгой, изматывающей проверки. Приговор вынесен, обжалованию не подлежит — можно было бы пошутить, будь здесь уместны шутки.

Второй документ, оглашённый следом, — и, признаться, я не ожидал от этого дня подобного поворота — тронул меня едва ли не сильнее первого. Отец объявлял манифест, ограничивающий барщину тремя днями в неделю и прямо запрещающий принуждать крестьян к работе на помещика по воскресеньям. Формулировка была суховатой, чиновничьей, без единого слова о справедливости или человеколюбии — но за этой сухостью я, привычный распознавать за казённым слогом истинную цену распоряжения, отчётливо увидел то, что сам годами пытался внедрить на собственном уделе исподволь, уговорами и личным примером, а отец в один день, одним росчерком пера, распространил на всю империю разом. Мысль о том, что человек, чьи решения нередко казались мне плодом одной лишь тревожной, не знающей меры воли, оказался способен на подобный, пусть и половинчатый, шаг, заставила меня посмотреть на него — хотя бы на несколько секунд — не как на источник постоянной, изматывающей тревоги, а как на кого-то, чьи мотивы всё же сложнее той карикатуры, которую я, чего греха таить, годами носил в голове рядом с более трезвыми, более справедливыми оценками.

После службы, в отведённых для короткого отдыха государевых покоях примыкавшего к собору дворца, отец, ещё не успевший снять тяжёлые регалии, неожиданно остался со мной наедине — свита, повинуясь неслышному, но безошибочно понятому знаку, вышла за дверь быстрее, чем я успел

заметить движение. Он стоял у окна, глядя на всё ещё гудящую внизу площадь, и, не оборачиваясь, произнёс то, что, я подозреваю, не собирался произносить вслух, — фразу, прозвучавшую скорее как обращение к самому себе, чем ко мне:

— Теперь-то уж точно не отнимут. Бумага есть.

Я не сразу нашёлся, что ответить, — не потому что не понял смысла, а потому что понял его слишком хорошо. За этой короткой фразой, брошенной без всякого пафоса, стояли не сила и не уверенность, а нечто прямо противоположное: застарелый, годами копившийся страх человека, который слишком долго ждал трона, слишком многого боялся лишиться его ещё до того, как получил, и теперь, получив, всё равно не мог до конца поверить, что закон способен защитить его надёжнее, чем защищала бы собственная, никому не подотчётная воля. Я сказал что-то ободряющее — не помню уже точно, что именно, — но, произнося эти слова, впервые за долгое время видел перед собой не государя и не отдалённую, тревожащую фигуру отца, а просто немолодого, испуганного человека, до самого сегодняшнего дня не уверенного, что заслуженное им по праву рождения когда-нибудь действительно станет бесспорно его. Он не подал руки на прощание — не в его привычках было заканчивать подобные разговоры жестами, — но кивнул мне коротко, почти по-военному, и этот кивок, к моему собственному удивлению, отозвался во мне теплее, чем отозвалась бы любая более пространная нежность.

Из государевых покоев меня выпустили не сразу — пришлось ещё какое-то время простоять в соседней зале, покуда не разошлась немногочисленная свита, — и я воспользовался этой заминкой, чтобы, вместо того чтобы дожидаться, пока за мной пришлют, самому отправиться на поиски Елизаветы: протокол в такой день предписывал десяток различных мест, где ей полагалось находиться, и я, пройдя мимо двух из них впустую, обнаружил её наконец в маленькой угловой гостиной, выходившей окнами на всё ту же не унимавшуюся площадь, — она стояла у окна одна, отпустив на минуту камеристок, и в этой редкой, случайно образовавшейся тишине выглядела скорее задумчивой, чем праздничной, вопреки всему великолепию дня.

— Ты слышал, что читали, — сказала она, не оборачиваясь, когда я подошёл ближе; это не было вопросом. — Про наследование. Я стояла достаточно близко, чтобы разобрать каждое слово.

Я подтвердил, не находя пока в себе сил облечь услышанное в связный рассказ, и она, помолчав, добавила то, о чём я сам, признаться, ещё не успел толком подумать за всей тяжестью собственных переживаний этого дня:

— Это ведь не только о тебе бумага. Это и о детях, которые у нас когда-нибудь будут, — сказала она с той спокойной, лишённой всякой аффектации прямотой, что всегда отличала её от прочих придворных дам её круга. — Ты сегодня стал не просто наследником вернее прежнего. Ты стал

первым звеном в цепочке, которая протянется дальше нас с тобой, хотим мы того или нет.

Я не нашёлся сразу, что ответить, — мысль о детях, о собственном будущем потомстве в связи с только что услышанным законом, признаться, до этой минуты вовсе не приходила мне в голову, слишком занятую более отвлечёнными, государственными материями, — и от того, с какой лёгкостью Елизавета перевела разговор из плоскости отвлечённого закона в плоскость самого простого, самого человеческого будущего, мне вдруг стало и тревожно, и тепло разом. Мы постояли ещё немного молча, глядя в окно на толпу, понемногу редевшую под вечер, прежде чем нас позвали к вечернему столу — обязательному, протокольному, с которого удалось сбежать раньше времени лишь под благовидным предлогом дальней дороги, ожидавшей нас поутру.

Обратная дорога в Петербург заняла, как и полагается, не один день, и где-то на втором или третьем перегоне, когда карета остановилась для смены лошадей на очередной унылой, разбитой распутицей станции, я застал у крыльца Николая Ивановича Салтыкова — тот, по обыкновению сдержанный и деловитый, успел за время моего отсутствия в карете обменяться несколькими фразами с прибывшим из столицы курьером и теперь пересказывал мне свежие новости с тем же будничным тоном, каким когда-то, ещё в моём детстве, докладывал о нехватке восковых свечей на образа. Среди прочего, почти между делом, он упомянул, что в Коллегии ино-

странных дел ожидают со дня на день возвращения из Константинополя одного из тамошних посланников — молодого, но, по слухам, на редкость толкового человека по фамилии Кочубей, — прибавив к этому какую-то не относящуюся к делу подробность о константинопольской жаре, которую я слушал уже вполуха, глядя в окно на плоскую, только-только оттаявшую после зимы равнину, убегающую вдаль в сторону дома.

Имя ничего мне тогда ещё не сказало — так же, впрочем, как когда-то, много лет назад, ничего не сказало мне произнесённое вскользь имя Луизы Баденской, — и я, привычно отметив его про себя без всякого особого интереса, кивнул Николаю Ивановичу и попросил его, если вернувшийся дипломат окажется в столице ко времени нашего приезда, устроить самое обыкновенное, ничем не примечательное представление — без того, чтобы за этим стояло хоть что-то, кроме обычного любопытства наследника к человеку, повидавшему больше света, чем видит за всю жизнь большая часть здешних царедворцев. Салтыков, по обыкновению невозмутимый, коротко кивнул в ответ и тут же вернулся к своим бумагам, а я снова остался наедине с Елизаветой в тесноватом, поскрипывающем на каждой выбоине возке.

Остаток пути прошёл в том особом, убаюкивающем однообразии, каким обычно и оборачивается долгая дорога после дня, вместившего в себя больше событий, чем иной месяц обычной жизни, — снег, ещё не до конца сошедший в

низинах, чередовался с раскисшими, коричневыми от грязи полями, деревни сменялись деревнями, и я, глядя на всё это мелькание в окне, время от времени возвращался мыслями то к тяжести короны на отцовской голове, то к твёрдости собственного голоса, каким совсем недавно было произнесено моё имя в общем перечне наследников, то к куда более простому и тёплому — к руке Елизаветы, задремавшей у меня на плече где-то на исходе второго дня пути. Столица, когда наконец показались её первые, ещё дальние огни, встретила нас тем же ровным, будничным гулом, каким встречала всегда, — и я, глядя на этот знакомый, привычный свет после стольких дней среди московского золота и лалана, впервые за всю поездку почувствовал что-то похожее на облегчение: что бы ни значил для меня отныне закон, только что скреплённый печатью в далёком соборе, здесь, дома, мне ещё предстояло прожить самую обыкновенную, будничную жизнь, из которой, как я уже успел выучить за прошедшие годы, только и складывается всё по-настоящему важное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.